М 14037
П.9390

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

V-III

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ.

№ 6—7

Июнь — Июль 1923.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ"
МОСКВА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 6—7
ИЮНЬ — ИЮЛЬ 1923

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ“
МОСКВА

Дом Плеханова
№ 223

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

М. Покровский.—Плеханов—русский историк 5
В. Румий.—Плеханов и террор 19
В. Полянский—Плеханов о Толстом 37
С. Кривцов.—Плеханов как социолог 45
В. Ваганян.—Плеханов и Белинский 59

Отрывок из письма Плеханова Ленину. (1-е клише) 77
Отрывок из письма Плеханова В. Засулич (2-е клише) . . . . . —
Д. Рязанов.—Вступительные замечания к докладу Плеханова на Брюссельском Конгрессе 78
Г. В. Плеханов.—Доклад Брюссельскому Конгрессу 79
„ „ —Письмо в редакцию „Mouvement Socialiste“ о русско-японской войне 89
„ „ —Речи и реплики на II с'езде лиги рев. соц.-демократии 95
„ „ —Три письма *Плеханова* к Горькому 105
Н. Ленин.—Статьи и фельетоны 109

В. Фриче.—Лавров и чистое искусство 112
Б. Горев.—Лавров и утопический социализм 121

Дидро—Статьи из энциклопедии: II. Философия Гоббса 132
„ „ „ „ III. Спиноза 159
Г. Баммель—Источники изучения Демокрита 182
А. Варьяш.—Формальная и диалектическая логика 207

А. Тимирязев.—Несколько замечаний по поводу наступления на материализм тов. Гольцмана 228
В. Мотылев.—Над могилой потребительской версии 242

Трибуна.

Ив. Стуков.—В чем суть моих возражений 249
Б. Горев—К вопросу о рев. тактике и просветительстве Плеханова 254
В. Р.—Несколько замечаний в ответ тов. Гореву 256

Сообщения и заметки. . . . . —

Собрание сочинений К. Маркса и Фр. Энгельса 257

Библиография.

Ст. Кривцов.—В. Ваганян.—Опыт библиографии Плеханова 259
В. Ваганян.—Г. В. Плеханов—Монистический взгляд 263
В. Ваганян.—Дополнение к „Опыту“ 267
Г. Баммель.—О книге Ивановского 270
И. Луппол.—С. Вольфсон. „Диалектический материализм“, изд. III 272
И. Луппол.—П. Лафарг—„Детерминизм“ 277
Ц. Фридланд.—Марат.—„Письма“. 281
И. Иванов.—И. Рязанова.—„Женский труд“. 285
Вл. Виленский (Сибиряков).—Павлович.—„Империализм“ 288
Н. Л-р.—В. Астров „Экономисты—предтечи меньшевиков“ 289

Г. В. Плеханов как историк России.

Основоположник русского марксизма нередко бывал жертвою до-марксистских приемов изучения. В статье его старого друга, Л. Г. Дейча, можно найти рассказ о том, как, только переехав русскую границу и в достаточной степени овладев немецким языком, Плеханов оказался в состоянии прочесть „всего" Маркса — и стать марксистом [1]). В основе плехановского марксизма лежала, таким образом, к н и г а: от того, прочел он эту книгу парою лет раньше, или позже, зависело, когда сделается марксистом Плеханов и с какого года будем мы датировать торжество пролетарской идеологии в России.

По отношению к э т о м у факту у нас, к счастью, есть документ, избавляющий от необходимости таких слишком „литературных" методов исследования. На страницах „Под Знаменем Марксизма" уже цитировалась знаменитая — по крайней мере, вполне заслуживающая знаменитости — в т о р а я статья Плеханова в „Земле и Воле", посвященная русскому рабочему движению. Непосредственно вызванная петербургскими стачками 1878—1879 годов, статья на два года предшествовала поселению Плеханова за границей и штудированию им Маркса в подлиннике: а марксистский подход в ней на-лицо. Говорить о Плеханове как диалектическом материалисте мы можем уже с той поры, когда из-под его пера еще выходили (частично их можно найти даже в э т о й статье) чисто народнические заявления.

„Действительность, как явившийся, отелесившийся разум,—можем мы повторить цитированные когда-то Плехановым слова Белинского,—всегда предшествует сознанию, потому что прежде, нежели сознавать, надо иметь предмет для сознания. Вот почему естествознание или учение о природе явилось гораздо позже самой природы, грамматика—после языка, история—после пережитой народом жизни". А пролетарское понимание истории, можно прибавить, после того, как вступил на историческую сцену пролетариат. Не потому появился на Руси марксизм, что Плеханов нашел досуг для изучения в подлиннике произведений Маркса—а Плеханов стал их изучать потому,

---

[1]) „Как Плеханов сделался марксистом". „Пролетарская Революция", №7 за 1922 г.

что на лицо уже было русское рабочее движение, понять и осмыслить которое, руководить которым, не изучив Маркса, было нельзя.

Все это весьма давно известно, скажет читатель. Весьма давно — а вот подите же: нет в России, по крайней мере мне неизвестно, работы о Плеханове, которая бы целиком стояла на этой точке зрения, которая бы брала всю литературную деятельность Плеханова, как отражение объективно происходившего в России рабочего движения. А между тем без такого подхода нам никогда не понять причин „величия и падения" величайшего из русских марксистов. Не только пролетарской, но и анти-пролетарской стадии литературной биографии Плеханова мы не поймем, не приложив к нему самому им самим внесенного в русскую литературу метода.

Пишущему эти строки досталась неблагодарная задача—писать о том, что относится именно к „анти-пролетарскому" периоду деятельности Плеханова: за изложение „Истории русской общественной мысли" основатель русского марксизма принялся тогда, когда он переставал уже быть марксистом. Но всякий, кто таковым остается, обязан работать на отведенном ему участке, не спрашивая, выгоден он или нет, раз работа нужна. И тут приходится только пожалеть, что „юбилейная" обстановка заставляет ограничиться небольшим докладом, тогда как нужна к н и г а. На вопрос: как Плеханов создал ту концепцию русской истории, которую мы находим во введении к „Истории русской общественной мысли" („Очерк развития русских общественных отношений"), можно ответить лишь на фоне другого, более общего вопроса, гласящего: „как Плеханов сделался оборонцем?". А для ответа на этот последний вопрос нужно изучить не только и с т о р и ч е с к и е писания Плеханова, но в с е его писания за период 1905—1914 годов (в последнем году вышел первый том его „Истории").

Для этого, повторяю, нужно написать целую книгу. Неприятная же особенность писания книг заключается в том, что это работа абсолютно бессрочная, с теперешней, кинематографической точки зрения. Книги пишутся годами, брошюры (хорошие) месяцами и лишь статьи можно писать днями (газетные даже часами). Вот почему я отчетливо сознаю, что мне не удастся сколько-нибудь удовлетворительно ответить на поставленный—не моим капризом, а требованиями материалистического метода — вопрос. Но и п о с т а в и т ь вопрос все-таки необходимо: покойник Ключевский — человек отменно умный, хотя и не наш — говаривал, что поставить вопрос — половина книги. Поставив вопрос, я все-таки расплачиваюсь по векселю (теперь НЭП, не надо забывать) полтинничком за рубль. Если припомнить, что такой почтенный человек, как Д. Н. Шипов, считал совершенно нормальным, ежели кадеты расплатятся по своим—избирательным—векселям по гривенничку за рубль, и не только не обзывал за это кадетов

жуликами — мошенниками, но усматривал в таковой их платежеспособности главный залог их министериабельности (определение было дано Шиповым в его разговоре с Николаем II по поводу предполагавшегося назначения кадетского министерства, в июне 1906 года): если это, говорю я, вспомнить, то какой же оценки должен быть удостоен буржуазными критиками марксист, платящий по полтиннику? А расшаркиваться и извиняться стоит, конечно, только ради буржуазных критиков (ибо Плеханов, по их давнему мнению, и их касается). За товарищей-марксистов беспокоиться нечего — наверное обругают, и наверное используют, если есть что полезное. Да и какие извинения в товарищеском кругу?

Вот какую формулу исторического процесса давал Плеханов в те дни, когда он, безо всякого спору, был выразителем пролетарской идеологии—в 90-х годах прошлого столетия. „Всякая данная ступень развития,—читаем мы в его тогдашней основной методологической работе,—производительных сил необходимо ведет за собою определенную группировку людей в общественном производительном процессе, т.-е. определенные отношения производства, т.-е. определенную структуру всего общества. А раз дана структура общества, не трудно понять, что ее характер отразится вообще на всей психологии людей, на всех их привычках, нравах, чувствах, взглядах, стремлениях и идеалах. Привычки, нравы, взгляды, стремления и идеалы необходимо должны приспособиться к образу жизни людей, к их способу добывания себе пропитания (по выражению Пешеля). Психология общества всегда целесообразна по отношению к его экономии, всегда соответствует ей, всегда определяется ею. Тут повторяется то же явление, которое еще греческие философы замечали в природе: целесообразность торжествует по той простой причине, что нецелесообразное самим характером своим осуждено на гибель. Выгодно ли для общества в его борьбе за существование это приспособление его психологии к его экономии, к условиям его жизни? Очень выгодно, потому что привычки и взгляды, не соответствующие экономии, противоречащие условиям существования, помешали бы отстаивать это существование. Целесообразная психология так же полезна для общества, как хорошо соответствующие своей цели органы полезны для организма".

Здесь дан совершенно отчетливый ответ на вопрос, как движется исторический процесс в пределах развития производительных сил. Оставалось ответить на дополнительный вопрос: что толкает вперед развитие этих последних. Плеханов и на это, в 90-х годах, давал ясный и точный ответ.

„Первоначальный толчок для развития общественных произво-

дительных сил дает сама природа: их рост в значительной степени определяется свойствами географической среды. Но отношение человека к географической среде неизменно; чем больше растут его производительные силы, тем быстрее изменяется отношение общественного человека к природе,—тем быстрее подчиняет он ее своей власти. С другой стороны, чем больше развиваются производительные силы, тем скорее и легче совершается их дальнейшее движение: производительные силы в современной Англии растут несравненно быстрее, чем расли они, напр., в древней Греции. Именно этой-то внутренней логике развития производительных сил и подчиняется в последнем счете все общественное развитие, подчиняется по той простой причине, что общественные отношения, не соответствующие данному состоянию производительных сил, неизбежно устраняются: пример—рабство, которое перестало существовать, когда пришло в противоречие с производительными силами общества, т.-е., говоря проще, когда стало невыгодным. Само собою понятно, что это устранение отживших учреждений и отношений вовсе не происходит само собою,—нелепая мысль, которую часто приписывают диалектическим материалистам их противники. Даром ничто никому не дается,—эту старую истину прекрасно знают материалисты-диалектики" [1]).

Короче, в виде очень сжатой схемы, Плеханов повторил еще эту формулировку в 1908 году, в „Основных вопросах марксизма".

„Если бы захотели кратко выразить взгляд Маркса-Энгельса на отношение знаменитого теперь „основания" к не менее знаменитой „надстройке", то у нас получилось бы вот что:

1. Состояние производительных сил.

2. Обусловленные им экономические отношения.

3. Социально-политический строй, выросший на данной экономической „основе".

4. Определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем, психика общественного человека.

5. Различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики".

Тут, конечно, есть кое-что новое—и это новое, без сомнения замеченное уже читателем, заключается в несомненной попытке сколь возможно эмансипировать политический момент из-под влияния производительных сил. Отодвинуть его подальше от них. Но и отделенная более или менее толстой прослойкой, „основа" все же остается на своем месте (хотя зачем-то и попадает в ковычки). Формулировка „Основных вопросов" все же еще приемлема для всякого марксиста.

[1]) „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", по изданию 1919 г., стр. 140—141 и 273.

И вот, автор всех этих формулировок принимается за изображение конкретного исторического процесса, общественного развития определенной страны, России. Как должен был он поступать?

Прежде всего, конечно, выяснить условия географической среды. Показать, как отразилась она на развитии производительных сил. Показать далее, какие на основе этих последних возникали группировки людей, классовые отношения. Выяснить, как эти отношения отразились на политической надстройке—которую, впрочем, автор „Монистического взгляда на историю", правильно не находил нужным выделять из „структуры всего общества": государство, действительно, лишь самый верхний этаж этой структуры. Наконец, из этой структуры вывести „психику общественного человека"—показать, как, в данных условиях развития производительных сил, развивалась в России „общественная мысль".

Подойти к географической среде русской истории было, сравнительно, нетрудно. Огромный и, при всей хаотичности, правильно с точки зрения материалистического объяснения истории, ориентированный материал собрал уже Щапов, в 1860-х—70-х гг. Синтезировавший все предшествующее развитие, включая и Щапова, Ключевский посвятил вопросу две лекции своего курса—из лучших в 1 части. Во всем этом не хватало диалектики—географические условия изображались, как равные себе на всем протяжении процесса того изменения в отношениях человека и среды, которое подчеркивает Плеханов, не замечалось. Кому, казалось бы, внести в этот, уже подобранный, материал диалектическую точку зрения, как не основоположнику диалектического материализма в России.

В действительности, как это ни удивительно, Плеханов проходит мимо всей этой груды ценнейших для него фактов. Как отправную точку историко-географического анализа, Плеханов берет одно из общих мест автора, писавшего ранее и Ключевского, и даже Щапова, одно из общих мест Соловьева, который, борясь с давно почившим в русской литературе федералистическим началом и обосновывая историческую неизбежность для России быть единым централистическим государством (мы в 1850-х годах, не забудем этого), выдвигал на первый план „однообразие природных форм", „исключавших областные привязанности".

В одном месте своего четырехтомника я попрекнул как-то Соловьева „школярством" (по поводу его объяснения Петровской эпохи). Это стяжало мне исключительную честь быть названным на страницах „Истории русской общественной мысли" (вообще избегающей упоминать о марксистах, писавших по русской истории). Плеханов, длинно и нудно, по своей обычной манере последних лет, поучает своего

читателя, какой я невежливый и невежественный человек, что решаюсь о Соловьеве (подумайте!) употреблять столь непочтительные термины. Мое уважение к Соловьеву, одному из умнейших и, безо всякого сравнения, образованнейшему русскому историку XIX столетия, не меньше плехановского. Но на „школярстве“ я все-таки продолжаю настаивать. Виноват в нем не Соловьев, а качества его аудитории. Как все профессорские произведения, исторические писания Соловьева выросли из его лекций. А эти лекции читались публике, по своему развитию стоявшей не выше теперешних школьников второй ступени. С этой публикой приходилось говорить наиболее простым и общедоступным языком, начинать с самых элементарных обобщений. Соловьеву нужно было доказать, что централизованная империя Николая I (Да, „вот давно как это было“!) есть осуществление той идеальной цели, к которой стремилась российская история „с древнейших времен“. Для сидевших перед ним, фактически, гимназистов, еще не решивших окончательно, какой мундир лучше, студенческий или гусарский [1]), „однообразие природных форм было, конечно, аргументом силы потрясающей. Для нас это фраза из гимназического учебника пятидесятых годов XIX века.

Но посмотрите, как носится с этой фразой Плеханов („История русской общественной мысли“ I, стр. 32 и сл.) Как обстоятельно и учено, с цитатами из Маркса, с параллелями из биологии пытается он еще более разжевать своему читателю „ценную мысль“, которая безо всякого разжевывания была понятна дворянским гимназистам времен Крымской войны. Общие места Соловьева „до сих пор“, видите ли, „слишком мало принимались в соображение теми писателями, которые задумывались о причинах относительной самобытности русского исторического процесса“.

Между тем, если даже на минуту отнестись серьезно к обобщению Соловьева и признать за ним не только педагогический, но и некоторый научный смысл, то оно фактически верно лишь для „Российской империи“ начала царствования Екатерины II, для середины XVIII столетия. Только оставаясь в пределах этого периода—когда еще не вошли в сельскохозяйственную эксплоатацию южно-русские степи – и принимая Россию за чисто земледельческую страну можно говорить об „однообразии природных форм“. Уже для конца царствования Екатерины, 1790-х годов, утверждение было бы устарелым: распашка „новороссийского“ чернозема создала два типа земледельческого хозяйства, типа, разница которых была настолько глубока, что ею обосновалось подклассовое деление класса русских землевладельцев, деление, легшее в основу конфликтов, связанных с „крестьянской реформой“. „Освобождение крестьян“ выглядело бы иначе—и не так нуждалось бы в ковычках—если бы у нас существовал только один тип, нечерноземного помещика, дворянина-манчестерца, и не было другого типа, черноземного, степного помещика-плантатора. Если же мы возьмем промышленный период русского развития, XIX век, то нам придется привлечь к делу и криворожскую руду, и донецкий уголь, и бакинскую нефть, и туркестанский хлопок, и мы наткнемся на такое разнообразие природных условий, которое побьет все европейские рекорды, и найдет себе соперника только в Америке, в Соединенных Штатах. Для Соловьева, в 1850-х годах, это было будущее—и, как историк, он не обязан был с ним считаться: но для Плеханова, выпускавшего свою книгу в 1914 году, это было уже прошлое—игнорировать его, значило отказываться от объяснения ближайшей к нам, и самой интересной для марксиста, части русского исторического процесса.

[1]) Такой анекдот был ни более, ни менее, как с Лермонтовым. Не смейтесь!

Итак, что дало исходный толчок развитию производительных сил на русской равнине, остается невыясненным: мы узнаем, в сущности, лишь, в чем заключался географический фундамент российского „единодержавия“ по мнению русских историков конца царствования Николая I. Проще говоря, приступая к изучению „Истории русской общественной мысли“, читатель Плеханова—ежели он только не прочел раньше хотя бы Ключевского—о „географической среде“ ничего не знает. Зато он узнает хоть, как развивались самые-то производительные силы? Увы—и этого нет. Он убедится только лишь раз, что Плеханов ценил историков, как доброе вино—чем старше, тем лучше.

Пленившись одним обобщением I тома соловьевской „Истории России с древнейших времен“ (напомним еще раз, что этот том вышел в начале 1850-х годов), Плеханов приводится в еще больший восторг другим обобщением—все того же типа. „Великая равнина“—продолжает он выписывать Соловьева—открыта на юге-востоке, соприкасается непосредственно с степями Средней Азии, толпы кочевых народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны в низовьях Волги, Дона и Днепра... Азия не переставала высылать хищные орды, которые хотят жить на счет оседлого народонаселения: ясно, что в истории последнего одним из главных явлений будет постоянная борьба со степными варварами“.

Глубина этого обобщения не больше, чем предыдущего. Его связь с практическими задачами русской политики времен Соловьева и его фактическая несостоятельность мною подробно разобраны в другом месте [1])—и я позволяю себе здесь к этому не возвращаться. Здесь для

[1]) „Вестник Социалистической Академии“, №№ 2 и 4.

нас важно, что оно еще раз, и уже окончательно, сбивает Плеханова с той дороги, которую он сам считал единственно правильной.

„Как же повлияла эта продолжительная борьба с кочевниками на внутреннее развитие России?“ спрашивает Плеханов, и вы чувствуете трепет человека, который, наконец, нашел ключ к давно мучившей его загадке. „С. М. Соловьев делает лишь некоторые намеки на решение этого важного вопроса. Сам он не принадлежит к числу тех историков, которые приписывало борьбе с кочевниками решающее влияние на судьбу русского племени. Известно его замечание о татарах: „татары (после покорения Руси. *Г.* П.) остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешивались во внутренние отношения, оставляя „все, как было“. Но другие кочевые народы,—предшествовавшие татарам в своих столкновениях с русским племенем,—еще меньше татар „вмешивались во внутренние отношения“. Поэтому мы должны понимать С. М. Соловьева в том смысле, что все эти другие кочевники еще более, чем татары, „оставляли все, как было“. А если это так, то в чем же сказалось влияние борьбы с кочевниками на внутреннюю историю России? Соловьев признавал, как видно, что, оставляя „все, как было“, кочевники своим влиянием замедляли или ускоряли естественное развитие внутренних отношений русского общества. „Мало того, что степняки или половцы сами нападали на Русь,—говорит он,—они отрезывали ее от черноморских берегов, препятствовали сообщению с Византией. Русские князья с многочисленными дружинами должны были выходить навстречу к греческим купцам и провожать их до Киева, оберегать от степных разбойников; варварская Азия стремится отнять у Руси все пути, все отдушины, которыми та сообщалась с образованною Европой“. Но если это так, то очевидно, что и кочевники повлияли на нашу внутреннюю историю прежде всего,—и, может быть, главным образом,—тем, что замедлили наше экономическое развитие. К сожалению, С. М. Соловьев не останавливается на рассмотрении этого важного вопроса... Кочевники „т о л ь к о“ опустошали Русь или брали с нее дань. Поэтому С. М. Соловьев говорит, что они оставляли все, как было. Но если опустошения з а д е р ж и в а л и внутреннее развитие того, что было, то они тем самым могли придать этому развитию новое направление, более или менее отличное от того, которое оно получило бы при другом историческом соседстве. Конечно, р а з н и ц а в б ы с т р о т е развития есть лишь к о л и ч е с т в е н н а я разница. Но, постепенно накопляясь, количественные различия переходят, наконец, в качественные. Кто знает? Может быть, опустошая Русь и, стало быть, замедляя рост ее производительных сил, хищные номады способствовали возникновению и упрочению известных особенностей и в ее политическом строе“...

Попав на эту зарубку, Плеханов так и не сходит с нее уже до конца. О развитии производительных сил России читатель от него ничего не узнает, если не считать беглых, попутных замечаний по поводу „поистине замечательного труда“ В. А. Келтуялы („Курс истории русской литературы“) на стр. 37–51 тома „Истории общественной мысли“. Начавшись довольно правильными соображениями насчет относительного значения лесных промыслов и земледелия в древнерусском хозяйстве и кончаясь весьма сомнительного достоинства рассуждениями о превосходстве меча над саблей—или сабли над мечом—Плеханов оставляет вопрос открытым: никакого в л и я н и я на ход исторического процесса различных военно-хозяйственных фактов эти замечания не устанавливают. Характерно только явное скотклонение от экономического момента (земледелие—лесные промыслы—скотоводство) к военно-техническому (сабля—меч): тенденция—подальше от экономики, поближе к политике—чувствуется все определеннее. Скоро оно окончательно берет верх. Ни мало не смущаясь фактом, что „производительные силы“—по прежнему для него и его читателя остаются иксом, Плеханов все свое внимание сосредоточивает на вопросах: какие п о л и т и ч е с к и е причины задерживали развитие этого икса и какие п о л и т и ч е с к и е последствия эта задержка имела?

Он явно досадует, что Соловьев не сумел извлечь из своего нового общего места—пресловутой, всем нам чуть не в детстве столь надоевшей, „борьбы со степью“—всех возможных логических последствий („С. М. Соловьев делает лишь некоторые намеки на решение этого важного вопроса. Сам он не принадлежал к числу тех историков, которые приписывали борьбе с кочевниками решающее влияние на судьбу русского племени; на самом деле это неверно—Плеханов считался только с „Историей“ и упустил из виду последнюю, предсмертную статью Соловьева, где все строится на борьбе „леса“ и „степи“). И он спешит этот пробел пополнить. У него-то уже ничто не увильнет от этого „классического“ объяснения—ни классовый состав русского общества, ни его, этого общества, политическое возглавление.

Почему Россия больше похожа на Азию, чем на Европу? Ключевский, в своем географическом обзоре, приводит ряд остроумных сближений, показывающих, как русская равнина в целом ряде отношений (пропорция моря и суши, устройство поверхности и т. д.) ближе к своим соседкам на восток, равнинам северной и средней Азии, нежели к Западной Европе. От Вислы и Карпат до Великого океана мы имеем, в сущности, о д и н географический комплекс. Не следует преувеличивать исторического влияния этого сходства, но что однообразие, например, водных речных путей, так привычных русскому, очень облегчало быстрое продвижение на восток наших сибирских конквистадоров, а следом за ними и быструю колонизацию

Сибири, это не подлежит сомнению, как и то, что будь вместо равнины в этом направлении хороший горный хребет, вроде Кавказского, и завоевание, и колонизации наткнулись бы на затруднения, для XVII века неодолимые,—о завоевании Кавказа и обрусении Закавказья до XIX века русскому империализму не приходилось и думать. В Сибири же не приходилось над этим задумываться. В сближениях Ключевского есть несомненный смысл для историка-материалиста. Но Плеханова это мало интересует. Для него „азиатизм" России—которому он придает даже преувеличенное значение—имеет совсем другой источник. Он берет не географическую характеристику Ключевского, а другое место „Курса", где тот объясняет не сходство России и Азии, а основные мотивы русских былин, „углубляет" мысль московского историка—и получает то, что требовалось.

„Борьба со степным кочевником, половчином, злым татарином, длившаяся с VIII почти до конца XVII в.,—говорит проф. Ключевский,—самое тяжелое историческое воспоминание русского народа, особенно глубоко врезавшееся в его памяти и наиболее ярко выразившееся в его былевой поэзии. Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным степным азиатом—это такое обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни". Это справедливо, может быть, более, чем предполагал сам проф. Ключевский. Даже те „европейские недочеты", которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к тысячелетнему соседству с кочевниками, при более внимательном рассмотрении оказываются следствиями замедленного борьбой с кочевниками экономического развития России".

Хотите ли вы знать, почему у нас не сложилось могущественной феодальной аристократии, подобной Западу или хотя бы Польше. Ларчик открывается просто. „Мы уже знаем, что борьба с кочевниками, увеличивая власть князя, как военного сторожа русской земли, вместе с тем замедляла экономическое развитие Руси, чем мешала возникновению в ней,—за исключением Волыни и Галиции,—влиятельного боярства, способного выставить определенные политические требования и, в случае надобности, поддержать их силой. Те условия, в которых очутилось русское население, перебравшееся с юго-запада на северо-восток, еще более усиливали эти „европейские недочеты в русской исторической жизни" и тем содействовали постепенному сближению русского общественного быта и строя с бытом и строем великих восточных деспотий".

И уже легче легкого из той же универсальной причины вывести московское самодержавие. Тут даже можно сослаться на Энгельса. „Чтобы обезопасить себя от внешних нападений,—например, от набегов тех же кочевников, которые на северо-востоке не оставляли в покое рускаго земледельца,—обитатели подобной деревни будут расположены поддерживать всеми зависящими от них средствами усиление центральной власти, сосредоточивающей в своих руках оборону страны, и расширение подчиненной ей территории: чем больше такая территория, тем больше людей может быть привлечено к делу ее обороны. И мы в самом деле видим, что северо-восточные русские крестьяне охотно способствуют увеличению княжеской власти и расширению государственной территории. Знаменитое „собирание Руси" великими московскими князьями могло итти так успешно только потому, что „собирательная" политика пользовалась горячим сочувствием со стороны народа. Но в то же время северо-восточные русские земледельцы, рассеянные в лесной глуши и разбитые на крошечные поселки, были бессильны против притязаний и злоупотреблений этой, их же нуждами и их же сочувствием укрепившейся, центральной власти: крошечная деревенька в два-три двора могла оказывать только пассивное сопротивление московским посягательствам на ее свободу, а все остальные деревеньки были слишком разобщены с нею, чтобы поддержать ее в роковую для нее минуту; напротив, они же и дали бы Москве средства для борьбы с „воровством" непокорных поселков. Если, по замечанию Энгельса, деревенские общины всюду, от Индии до России, служили экономической основой деспотизма, то одна из самых главных причин этого явления лежит в условиях натурального хозяйства, исключающих экономическое разделение труда и разбивающих все земледельческое население обширного государства на небольшие группы, не нуждающиеся одна в другой, а потому и равнодушные друг к другу, именно, в силу полного тождества их экономического и общественного положения"[1]).

А чтобы читатель от этой мысли Энгельса не впал, чего доброго, в „экономический" материализм, в примечании назидательно напоминается: „К этому надо прибавить уже хорошо знакомое нам влияние кочевников, которое теперь выражалось, между прочим, в следующем: со времени татарского господства князья усилили владычество на земле и на живущих на ней, потому что должны были отвечать за исправность платежей, следовавших ханам с земли и ее обитателей" („Промышленность древней Руси", Н. Аристова. СПБ. 1866, стр. 49).

Это ли не мастерство—сочинение специально по экономической истории России использовать для того, чтобы лишний раз отгородиться от экономики и восстановить „чистую политику" в ее неотъемлемых правах!

---

[1]) „История русской общественной мысли," т. I, стр. 52, 55, 74—75.

Ибо основная задача Плеханова в том и состояла, чтобы поставить незаслуженно возвеличивавшуюся им в 1890-х годах экономику „на свое место". Наивно было бы думать, что этот тонкий наблюдатель не замечал банальностей и поверхностностей обобщений Соловьева, которыми он восхищается. Соловьев был нужен Плеханову, чтобы помощью солидного авторитета обосновать собственную мысль: в России экономика давала лишь самый сырой, первичный материал, в образе „натурально-хозяйственных отношений". Все формы лепила из этого сырого теста политика. Та политика, самодовлеющего значения которой упорно не хотели понимать большевики, выдвигавшие на первое место национализацию земли, диктатуру пролетариата и крестьянства и тому подобные, русской серости совсем не приличные вещи. Надо было показать, что в формально-политическом моменте, трактуемом большевиками так презрительно, вся суть дела. Что прав был Плеханов и кадеты, когда они советовали сначала обеспечить себе эту формально-политическую сторону, завоевать хорошую конституцию, а потом уже разговаривать о захвате власти. Действовать наоборот, значило итти против течения всего русского исторического потока: и надо было это показать невежественным людям. Формально-политический момент, воплощенный в созданной потребностями национальной обороны государственной власти, сотворил Россию со всем ее общественным строем,—а они этот момент игнорируют!

И вот, со ступеньки на ступеньку, мы у знаменитой теории закрепощения. „Значительно отставая от своих западных соседей в хозяйственном отношении, Московская Русь XVII-го века вела с ними продолжительные войны. Вследствие этого ей пришлось затрачивать все большую и большую долю своих средств и сил на поддержание органов самозащиты. В стране, продолжавшей оставаться колонизующейся страною, это роковым образом вело ко все большему и большему закрепощению тех слоев населения, а в особенности трудящейся массы, для непосредственной или посредственной службы государству... Общественно-политический быт русского государства представлял собою как бы двухъярусное здание, в котором закрепощение обитателей нижнего яруса оправдывалось закрепощением обитателей верхнего: крестьянин и посадский человек были закрепощены для того, чтобы дать дворянину экономическую возможность нести свою крепостную службу государству... При сопоставлении этой особенности с тою, которую мы отметили, сравнивая общественно-политический строй Московского государства со строем западно европейских стран, у нас получается следующий итог: государство это отличалось от западных тем, что закрепостило себе не только низший земледельческий, но и высший служилый класс, а от восточных, на которые оно очень походило с этой стороны,—тем, что вынуждено было наложить гораздо более тяжелое иго на свое закрепощенное население"[1]).

Теории этой пишущий настоящие строки отдал достаточно внимания в своей статье „Откуда взялась теория внеклассового происхождения руского самодержавия?"[2]). Повторять детально развитую там аргументацию не имеет смысла—напомню только, что родоначальником теории является Б. Н. Чичерин, идеологический предок позднейшего „Союза 17 октября", и что сложилась она в эпоху „освобождения крестьян", когда Чичерину даже Герцен казался ярко-красным якобинцем. В названной статье выяснены и причины долговечности схемы—понадобившейся первоначально собственно русскому помещичьему центру перед 19 февраля. Классовое происхождение схемы вне сомнения, и усвоение ее Плехановым служит лучшей иллюстрацией того, к чему приводит уклонение от принципов исторического материализма, когда-то так красноречиво развитых тем же Плехановым.

С первого взгляда может показаться, что Плеханов просто усвоил себе буржуазное понимание русского исторического процесса—и что он никакой, более или менее оригинальной, „группировки людей" не представляет. Дело однако не так просто. Буржуазная схема понадобилась ему не сама по себе, а как средство для обоснования некоторой, опять-таки, своей мысли. Эту свою мысль он формулировал так на стр. 110-й: „Но одной из замечательных особенностей русского исторического процесса явился тот факт, что наша борьба классов, чаще всего остававшаяся в скрытом состоянии, в течение очень долгого времени не только не колебала существовавшего у нас политического порядка, а, напротив, чрезвычайно упрочивала его".

Итак, открытая борьба классов не характерна для русской истории. Потребности государственной обороны притушили эту борьбу и, во всяком случае, отодвинули ее на второе место. Оттого и „промежуточные", „внеклассовые" партии, вроде кадетов, могут у нас играть совсем иную роль, чем на Западе. И не только „так было", но и „так будет": потребности обороны всегда будут сглаживать классовые противоречия. „Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т.-е., во-первых, их взаимной борьбой там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным сотрудничеством там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений. Стало быть, ходом развития взаимными отношениями классов, составлявших рус-

[1]) Там же, стр. 203—204, 107, 86.
[2]) „Вестник Социалистической Академии", №№ 1, 2 и 4.

ское общество, и должно быть объяснено неоспоримое относительное своеобразие русского исторического процесса"[1]).

„Относительное своеобразие русского исторического процесса" заранее обосновывало оборончество группы „Единство". Мы видим, до какой степени близоруко было бы причислять Плеханова к сонму тех социал-демократов, которых неожиданный сюрприз войны загнал в лагерь „защитников отечества". Первый том его „Истории" уже вышел из печати, когда еще, кажется, и Фердинанд австрийский был жив—и когда говорить о надвигающейся войне считалось для доброго марксиста безусловно неприличным: стыдно помогать рекламе пушечных заводчиков. Не испуг, а теория загнала Плеханова к оборонцам—теория, отражавшая интересы отнюдь не класса предпринимателей (которые, в России, и оборонцами стали далеко не сразу), а их образованных слуг, того слоя, который можно назвать технической интеллигенцией.

Этот слой уже успел создать на Руси свою идеологию. То была идеология „легального марксизма", не отрицавшего влияния бытия на сознание, но отрицавшего классовую борьбу и воспевавшего, в лице Струве, внеклассовое государство. Этот марксизм без революции был вполне приемлем и для левого крыла кадетов, многие из которых, в теории, мало отличались от правых меньшевиков.

Этому слою нужна была не только своя „внеклассовая" власть, но и своя „философия русской истории"—не революционная, ибо он смутно предчувствовал свою судьбу в дни массового революционного движения (уже в декабре 1905 г. его принудительно заставляли питаться черным хлебом!), но все же почти материалистическая, с классами, но без борьбы классов по возможности. Во внешней политике этот слой был бо́льшим патриотом, нежели предприниматели—ибо он представлял интересы русского капитализма в целом русского капитализма, как такового, а рядовой предприниматель представлял интересы только своего собственного капитала. „Оборона страны" для него была менее звуком, чем для „толстосума" (с толстой сумой везде хорошо!)—и он громче и искреннее кричал „ура", чем кто бы то ни было, когда Германия на нас „напала" в 1914 году.

Этому слою нужен был свой идеолог—и он нашел его в лице Плеханова после 1905 года. Последний не просто поддался влиянию буржуазных книжек. Буржуазные книжки были ему нужны для обоснования его собственных мыслей—но обосновывал-то он теперь не наступательные стремления пролетариата, а оборонительные со всех сторон стремления того общественного слоя, который командовал пролетариатом от имени капитала, но не прочь был стать командиром и от своего собственного имени.

М. Покровский.

[1]) „История руской общественной мысли", I, стр. 11.